

## Евдокия

1.

— И сколько же это будет продолжаться? Когда войне конец? Сил моих больше нет! Устала! Руки, ноги, всё устало! Выспаться хочу! Вот вернётся мой Феденька с фронта, намою его, налюблю, и будем спать с ним до тошнотоньки... Дай-то Бог, чтобы поскорее вернулся! Все вернулись!

Заправив под косынку волнистые, не по возрасту отмеченные сединой волосы, Евдокия перекрестилась — не таясь, широко, наотмашь, вкладывая в крестное знамение всю свою веру и душу.

— Сейчас, видимо, скоро... Мой пишет, что в Пруссии они уже. Гонят фашистского зверя прямо в его логово, а там и добьют окаянного! А уж мой-то Вася-Василёк вернётся, вот уж я полюблю его! За все четыре годика отлюблю! И детишек нарожаем. А то война-подлюка всю жизнь перевернула! Двух девочек хочу и двух мальчиков...

— Ой, Клавка, тут бы с двоими управиться! Перешивать да штопать на них не успеваю. Валенки вон латаны-перелатаны. А накормить их... Картошку по штукам считаю. Слава Богу, до весны дожили, а там и до лета рукой подать... А ты, Клав, вот чего, давно хотела сказать тебе... Ты бы утихомирилась уже. Вот придёт Василий да как прознает про всё? — Ты, что ли, донесёшь?

— Дура ты набитая! Спасибо! Сколько за эти годы мы с тобой вместе дерьма перелопатили, ночей недоспали? Другие доброхоты найдутся...

— А я себя не корю! У меня любви на всех хватит! — Клавдия сладко потянулась, словно кошка после дрёмы, нарочито, не обращая внимания на окружающих, заложив руки за голову и обозначив крепкую высокую грудь под белым халатом, стеснённую новым самошитым сатиновым лифом, выменянным за тушёнку на рынке. — Кто их, горемык, ещё приголубит, да и когда ещё? Не могут мужики без женского ухода. Это мы, бабы, зажали — и ура! А мужик — дело тонкое... Вот и выходит, что *это* и солдатам на пользу, и мне для здоровья. А доведётся, может, и моего Василька какая добрая душа пригрееет да приголубит... Ну, всё, перекурили — и вперёд. Главврач объявил: на станцию эшелон прибыл, сейчас машины пойдут под разгрузку. Да и похолодало опять сегодня:

одно название, что весна. Пойдём в здание, не то застынем — сами ляжем.

Бледное солнце не без труда пробивалось сквозь слюдяные облака. Порывистый ветер выюжил колючей позёмкой, щипал лицо и руки, не давал расслабиться.

Клавдия по-мужски затушила папиросу о голенище «кирзача» и, не найдя, куда пристроить окурок, спрятала его в спичечный коробок. Запахнув шинель, приобняла Евдокию:

— Пойдём, Дуся! Сейчас точно не до любви будет...

Подруги работали санитарками в N-ском военном госпитале с первых дней его основания. Сюда, на Урал, в глубокий тыл, с фронта доставляли простреленных, разорванных, обожжённых людей. Тех, кому, в отличие от навсегда оставшихся в окопах, на вчерашней пашне, среди руин своих и чужих городов, был дан шанс на жизнь... Далее же надо было уповать на волю Всевышнего. И на золотые руки волшебников-хирургов: чтобы смогли собрать,шить, залатать. И никто не знал, кому повезло больше — тому, кто с лаконичным решением медкомиссии «годен к строевой» будет вновь отправлен на фронт, в адову мясорубку, или калеке без рук, ног или глаз, направленному к месту своего постоянного проживания.

Евдокия добралась домой за полночь. Повезло — подвернулась попутка. Так бы идти несколько километров по темноте безлюдных улиц. Дежурство выдалось, как говорили в этих случаях, боевое: прибыл эшелон с ранеными. Вновь война пахнула своим жаром за далёкий Уральский хребет. Говорят, медики привыкают к чужой боли, крови. Наверное, иначе нельзя: зачастую только через боль и можно помочь несчастному. Но Евдокия так и не смогла привыкнуть к чужим мучениям, смерти...

И если бы лишь это. Её душевное страдание усугублялось хронической телесной усталостью. Одна только разгрузка вновь прибывших свалила бы с ног и дюжего мужика. А ещё бесконечные перевязки, смена белья, уборка. Уход за лежачими, прикованными к кровати, беспомощными, как малые дети, в ком едва теплился маленький уголёк жизни, готовый угаснуть в любую секунду.

Дома ждала старшая дочь Ленста. В свои одиннадцать лет она уже была настоящей помощницей

и надёжной опорой Евдокии. Русыми непослушными кудрями—в отца, открытыми карими глазами—в мать. Уж точно, что своё,—задорный курносый носик с россыпью весёлых веснушек, не сошедших с прошлой весны. В те годы родители часто называли своих детей патриотическими именами: Ленста—Ленин, Сталин; Вил—Владимир Ильич Ленин; Марлен—Маркс, Ленин; Искра; Октябриня. Вот и Ленсте повезло с громким именем...

— Устала?—девочка помогла матери снять холодный с улицы, цвета мокрого песка армейский бушлат, обняла её.—Госпиталем пахнешь...

— Сил нет. Эшелон принимали. Дай присяду, а то упаду сейчас...

Поцеловав дочь, Евдокия тяжело опустилась на табуретку, с наслаждением до хруста вытянула уставшие ноги. С силой протёрла руками слипающиеся глаза, утомлённое лицо. Ленста проворно помогла матери снять сапоги.

— Сейчас картошку с молоком подогрею.

Девочка по-хозяйски разожгла примус и поставила на огонь сковороду.

Зapasённая с осени картошка уже заканчивалась, и Ленста с подружками ходили на картофельное поле—искали оставшиеся с уборки картофелины, благо снег в апреле уже подтаял. Картофель был подморожен и при готовке стал стили, но есть его можно было вполне. Молоко приносила соседка по бараку тётя Зина. В свои неполные пятьдесят лет она выглядела намного старше—сильно потрепала её жизнь, чуть не сломала вообще. Муж Зинаиды погиб ещё в мирное время от несчастного случая на железнодорожной станции, где работал путейцем. В первый же месяц войны они вместе с Евдокией пережили сообщение о гибели её старшего сына, а ещё через полгода—весть о смерти младшего... Евдокия как могла—где словом, где делом—помогала соседке. Главное—не дала запить с горя. А когда Зинаида оклемалась—обзавелась козой, чьё молоко щедро раздавала детям солдаток.

Не сравнимый ни с чем дразнящий дух шумно шкворчавшего жареного картофеля перебивал тягучий запах горящего керосина.

— А ты почему не спишь? И свет большой горит!—Евдокия скользнула взглядом по оранжевому абажуру.—Завтра не воскресенье вроде. Да и суестьись что-то. Случилось что? Со Стасиком? Или в школе набеодукирили?

Евдокия с прищуром посмотрела на дочь.  
— Да нет, в школе всё в порядке. К Первому мая начали готовиться. Мне стих дали учить—самый большой в классе! А со Стасиком что станется? Вон он—спит себе без задних ног.

Восьмилетний Стасик, набегавшись на ночь с соседскими детьми по длинному коридору барака, безмятежным сном спал на верхних полотах.

— Ты поешь сначала, а потом тебе будет сюрприз!—заговорщически объявила Ленста, снимая сковороду с огня.

— Подожди-ка с едой. Это что ещё за секретики ночные?—почему-то сообщение дочери насторожило Евдокию. Каким-то особым чутьём она почувствовала беду: напряглась, подобрала под себя ноги, будто приготовилась принять удар.—Ну-ка выкладывай быстро!

Ленста сникла, поняв, что проговорилась не ко времени и сюрприз не состоится. Нарочито, по-детски, надув губы, вернула еду на затушенный примус.

— Остынет ведь. Я же хотела как лучше, а ты...

— Ну, говори уже, что там у тебя, а то я с ног валюсь.— Вот и сюрприз!—девочка вмиг достала из-под подушки почтовый конверт, высоко, насколько смогла, подняла его над собой. Даже встала на цыпочки. Лицо её сияло от радости.—Письмо от папы!

Фёдор писал не часто, зато регулярно: радовал своими письмами раз в десять дней, самое большее—в две недели. Последняя весточка от него пришла месяц тому назад, и Евдокия уже не знала, что и подумать...

Осторожно взяв конверт, как берут хрупкую ломкую вещь, с тревогой осмотрела его:

— А почерк-то не папкин...

В глазах почернело.

«Похоронка? Нет. Почтальон вручает их в руки. Стараются при соседях. Пропал без вести? Опять ранен?..»

Мысли, одна страшнее другой, обожгли мозг Евдокии. Вскрыть конверт не было сил.

— Ну, открывай же! Открывай!—Ленста подпрыгивала от нетерпения рядом с матерью, всё ещё в восторге от приготовленного ею сюрприза.

Евдокия онемевшими пальцами надорвала конверт, достала сложенный вчетверо тетрадный лист, разгладила его, всматриваясь в прыгающие буквы чужого почерка. Тянула время, не решаясь читать. Густые смоляные брови-дуги сошлись на переносице. Правильные, забывшие вкус помады губы плотно сжались в тонкую бледную линию.—Мама! Мама! Читай!

Вслух читать письмо не стала, читала молча...

«Доброго Вам здоровья, незнакомая мне, но глубоко почтенная Евдокия Фёдоровна! Пишет Вам сослуживец и верный товарищ Вашего супруга и героического бойца Фёдора Артемьевича. Приключилось так, что, пройдя с победами половину Европы и взяв на штык город Вену, мы с Фёдором были ранены в одном бою и сейчас находимся на излечении. По причине невозможности писать ему самому далее пишу Вам с его слов.

Здравствуй, моя дорогая жена Дусенька!

Совсем немного не хватило мне дойти до Берлина, гнезда фашистского змея, и вырвать его

ядовитое жало. Но верю, что очень скоро мои боевые товарищи сделают это!

Четыре года смерть обходила меня. Имел я всего два лёгких ранения, о чём ты знаешь. И опять она пощадил меня. Только сейчас взамен жизни забрала правую руку и обе моих ноженки.

Дорогая Дусенька! После долгих раздумий решил сообщить тебе следующее. По излечении и выписке мне, горемычному, полагается полная демобилизация. Отвоевался твой Фёдор, отлетал соколик. Домой не вернусь и очень прошу тебя понять меня и не корить за это. Кому я нужен такой поломанный? Ни гвоздь забить, ни за водой сходить. Да и тебя, моя горлица, не смогу обнять, как прежде. Опять же, двух ребятишек тебе поднимать нужно, а тут ещё я—калека-иждивенец.

Так что, пойми меня и прости своим большим добрым сердцем! Детишкам прошу кланяться и поцеловать их за меня крепко-накрепко. Объясни им всё как есть. Вырастут—поймут и простят своего папку.

Если захочешь ответить, пиши мне, как писала ранее, только на имя Прохоренко Петра Андреевича, моего боевого товарища. Я тоже буду писать ему.

На том заканчиваю. Ещё раз прошу простить меня и не поминать лихом! Россия большая, людей добрых много, приживусь где-нибудь.

Крепко целую, любящий тебя Фёдор».

...Евдокия сидела молча, словно окаменев. Пустыми глазами смотрела на расплывчатый бумажный четырёхугольник, лежащий на столе в жёлтом свете настольной лампы. «Что это? Про кого это?» До неё не доходил смысл прочитанного, мысли путались: «Живой Федя, живой! Но что там написано? Без рук, без ног. Как это—без рук, без ног?!..» Для неё, работающей в госпитале, видеть покалеченных и изуродованных войной людей было делом ежедневным. Но представить *своего* Федю—красавца, с копной русых кудрявых волос, которым завидовали даже женщины, балагура и танцора—инвалидом она не могла...

— И что он там удумал?!—невольно вырвалось у неё в полумраке маленькой комнатки.

Ленста растерянно смотрела на мать.

Собравшись духом, Евдокия взяла письмо, поборов страх перед ним, словно решила на что-то опасное, но очень важное для себя. Прочитав его ещё раз—не спеша, чуть не по слогам,—долго изучала конверт.

— И что это ты там удумал?..

Яркие всполохи окрасили розовым вышитые крестиком оконные занавески—на металлургическом комбинате разливали металл.

Евдокия ходила по полутёмной комнате, раскачиваясь, как зверь в тесной клетке. Воспалёнными глазами бессмысленно блуждала по белёным стенам с неугомонными часами-ходиками; по их

с Фёдором свадебному портрету, где они, торжественные, с надеждой на счастливое семейное будущее, смотря в объектив напольного фотографического аппарата; по этажерке с учебниками детей, любимым Фейей Жюль Верном и журналами «Огонёк» довоенных выпусков; по скрипучему состарившемуся фанерному шифоньеру, куда любят прятаться дети, играя в прятки; по молодёчки подпирающему его в бок красавцу комоду—гордости их семьи, прочному, натурального дерева под блестящим лаком, со множеством выдвигаемых ящиков и вереницей фарфоровых слоников, бесшумно пасущихся на его просторной столешнице.

Ленста, всхлипывая, выскользнула из комнаты. Вернулась с тётёй Зиной. Та пришла как была: с распущенными волосами, накинута шалью на ночнушку.

— Дуся! Дорогая! Что случилось?

Евдокия чуть заметным кивком указала в сторону стола:

— Вот. Пришло. Почитай...

Зинаида обстоятельно, на два раза, прочитала письмо.

— Да, дела...—сняв очки, только и смогла произнести тётя Зина.

— Так что же мне сейчас делать, тётя Зин? Ехать к нему? Куда? Да и работа, дети... Надо писать. Да, надо срочно писать ему! Чего выдумал! Живой—и слава Богу!

— Правильно говоришь. Я своих сынков и такими бы встретила. На коленях бы встретила! И носила на руках всю свою оставшуюся жизнь! Так что успокойся, выпишись, а завтра и отпишешь.

— Да она ещё и не ела,—робко вставила растерянная Ленста.

— Тем более. А утро вечера мудренее...

— Не заснуть мне теперь, тётя Зин! Сегодня отпишу! А ты иди спать, самой вставать ни свет ни заря.

— Так, может, остаться мне, Дусь? Как скажешь.

— Не надо. Спасибо тебе! Вот дочь уложу, поем и отпишу.

На том и порешили. Поцеловав девочку и обняв Евдокию, Зинаида ушла к себе. Ленста молча смотрела на мать.

— Ранили папку нашего фашисты проклятые. Сильно ранили. В госпитале он, на излечении.

Более Евдокия решила не говорить ей ничего. — Мама! А почему папу не привезут в твой госпиталь? Ты бы лечила, а я помогала.

— Значит, так нужно. Ложись же, горе моё луковое! Сюрпризик... А я напишу письмо папке, что мы его любим и чтобы он скорее поправлялся и возвращался домой...

Со стороны сортировочной станции Уральского танкового завода донёсся ляг вагонных сцепок—там формировали очередной эшелон со знаменитыми, ставшими уже легендарными «тридцатьчетвёрками».

Уложив дочку и забыв о еде, Евдокия вырвала лист из тетради, достала ручку из пенала Ленсты, долила чернил в чернильницу. Трудно, да и невозможное было передать бумаге всё, что она хотела сказать мужу, громко прокричать ему. Ей было бы легче птицей вылететь из комнаты и через километры тьмы и распутицы, через неведомые ей страны долететь к своему Фёдору и забрать его с собой. Большая клякса вернула Евдокию к действительности. Перо ручки предательски скрипело и цеплялось за бумагу—решила писать карандашом.

«Здравствуй, дорогой, любимый Феденька! Письмо твоё получила и тут же спешу с ответом. Родной мой! Как ты мог додуматься до такого при живых жене и детях?! Ты жив, а это самое главное! Все эти годы я только и жила тобой, а ты... Ведь сам писал мне в сорок первом: „Жди меня, и я вернусь. Только очень жди...“ И я ждала. Мы все ждали.

Вот война и по нашей семье ударила. Что тут поделаешь? У других-то ещё хуже—полбарака похоронки получили... А тебя мы вы́ходим. И на ноги поставим. Вон какие сейчас протезы делают! Ты у меня сильный и герой—всё выдюжишь! И будем мы опять вместе. Так что гони прочь мысли свои дурные! Мы с тобой ещё и цыганочку, и вальс в клубе станцуем!

Феденька! Сообщи, где ты? Извернусь с работой и детьми и приеду к тебе, соколику моему ненаглядному. Ты у нас один-единственный, и другого нам не нужно!

С нетерпением жду от тебя весточки!

Много раз целуем тебя.

Твоя любящая жена Евдокия».

## II.

Джультбарс нежился на мягкой молодой траве в лучах майского солнца. Жмурясь от удовольствия, пёс потягивался, глубоко прогибая спину, подставляя теплу то один, то второй полинялый бок. Весна принесла ему надежду на скорое лето и сытное пропитание.

Ещё щенком Фёдор подобрал его на улице и принёс домой. Жалкого, скулящего. Назвали Джультбарсом. В честь четвероногого героя одноимённого фильма про доблестных советских пограничников. Евдокия была не против нового домашнегоца—всё живность, да и дети сразу приняли его в свою шумную компанию. Неожиданно для всех из щенка-недотёпы вырос крупный красивый пёс. Фёдор изладил для него будку—прямо под окном своей комнаты. Соседи по бараку приняли и полюбили Джультбарса, который стал добросовестным и надёжным сторожем.

А потом что-то случилось. Был длинный стол во дворе, много людей, громкие причитания и плач, взволновавшие даже его собачью душу. Джультбарс

хорошо помнил, как к нему подошёл Фёдор, сладко почесал его за ухом: «Ну что, друг, и ты прощай! Свидимся ли ещё? Остаёшься за старшего, так что приглядывай тут...» Затем Фёдор куда-то пропал, так же как и большинство мужского населения их барака. Вот он и приглядывал—четыре года уже. Своих сторожил, грозно облаивал чужих. И скучал по своему любимому хозяину—преданно, по-собачьи.

Вдруг нос Джультбарса нервно вздрогнул. Пёс замер. Вытянув шею, глубоко вдохнул парной утренний воздух. Ошибиться не мог: этот запах, знакомый ему со щенков, он узнал бы из тысячи других...

Воскресенье! Главврач разрешил и даже приказал большинству персонала использовать выходной день по назначению: побыть в семье, заняться домом, но главное—отоспаться. А приказы надо выполнять.

Весёлые ходики и безработный на сегодня будильник дружно показывали восемь утра. Дети шустро перебрались со скрипучих полатей в койку к матери, и все, обнявшись, единодушно решили поспать ещё часок-другой. Вдруг их сон прервал надрывный, переходивший в визг, лай Джультбарса. Цепь, на которую сажали собаку на ночь, гремела и обещала порваться...

— Он что там, с ума сошёл?! На кого это так? Лен, встань, посмотри...

Ленста нехотя встала с тёплой постели, приоткрыла оконную занавеску.

— Дядька какой-то. Джультбарса гладит... Па-па?... Папа, папа! Мама, да это наш папка приехал!—и она пулей вылетела из комнаты.

За ней с криком «ура!» выбежал Стасик.

— Папа? Какой папа?...—Евдокия присела в кровати, подтянув одеяло к лицу, будто прячась от кого-то.— Как приехал?..

На миг Евдокию парализовало. В глазах всё поплыло. Но дикий визг Джультбарса и крик детей за окном вернули её в чувства. Накинув на плечи платок, на скорую руку зачесала распущенные волосы, закрепив их гребнем,—не до зеркала. Тело била дрожь. Ноги, как две гири, не осилили и трёх шагов до двери. Что за ней? Что увидит сейчас? Так долго ждать этой минуты, этой встречи, а сейчас испугаться, запаниковать...

...Торопливые шаги и щебетание детей эхом разносились по пустому коридору спящего барака. Вот они уже рядом с дверями, за дверью. Дверь распахнулась...

На пороге стоял Фёдор—её дорогой Фёдор, о двух руках и двух ногах. С залихватски набекрень надетой пилоткой, при наградах и с детьми на руках...

— Ну что, мать, принимай! Аль не нравимся?

Лицо солдата сияло от счастья. Выждав секунду, Фёдор сам бросился к жене. Стиснул в объятиях.

Так и стояли долго вчетвером — самой счастливой семьёй на свете, крепко обнявшись. И никто и ничто не смогло бы разъединить их сейчас...

— Федя... Ты?! Живой! Здоровый! — шептала Евдокия, целуя лицо и руки солдата, запыхавшись, вкусно пахнущую родным человеком гимнастёрку.

Вдруг её прорвало: тяжёлые безмужние годы, госпиталь, болезни детей, недоедание и постоянный страх за дорогого ей человека вырвались из неё криком и потоком невыплаканных слёз. Плакала навзрыд, по-бабьи, тесно прижавшись к мужу:

— Феденька! Вернулся... Целый...

— Ну, будет, будет, от ваших слёз у меня гимнастёрка уже промокла. Да и людей испугаете! — отшучивался Фёдор, целуя жену и детей.

— Феденька! Как же так? Ведь ты писал, что... — вопрос Евдокии прозвучал как-то естественно, невольно, сам по себе.

Она отступила на шаг, вытерла слёзы. Настороженно осмотрела его — с головы до ног, до сих пор не веря своим глазам.

— Позже, Дусь, позже. Всё тебе объясню, потом. А сейчас прими меня, прости и не гони непутёвого...

И опять во дворе был стол, длинный, как тогда — в сорок первом. Было много людей, водки и слёз: по вернувшимся и тем, кого уже и не ждали. Были гармошка и патефон. И нескончаемые разговоры о фронте и жизни в тылу.

Поздним вечером Зинаида забрала детей к себе. И у Евдокии и Фёдора была долгая бессонная ночь, самая счастливая в их жизни. Ночь любви, слёз, разговоров о пережитом и будущем. А через положенный срок у них родилась дочь Людмила...

О поступке же своём Фёдор поведал следующее. Ближе к концу войны среди солдат распространилось поверье — проверяли жён на верность. Пишет боец письмо домой: мол, так и так, покалечили меня да изуродовали. Что не мужик я более и не работник. И сидеть мне побирушкой остаток своей несчастной жизни на вокзале или в чайной с помятой кружкой у обрубков своих ноженек... И как бы ни хотелось верить в это — случалось, жёны просили «калек» проезжать мимо дома. Кто-то признавался, что уже живёт с другим. Кто-то ссылался на нужду: мол, сами с детскими впроголодь, еле-еле концы с концами сводим, а тут ещё ты нахлебником. Вот такие выкрутасы война с людьми вытворяла...

И какой леший надоумил Фёдора написать *то* письмо? Ведь верил Евдокии, знал, что ждёт его и примет любого. Но то ли после очередного отказного письма кому-то из сослуживцев от «верной» жены, то ли в хмельном запале после наркомовских ста граммов, поддался настроению, написал. А придя в себя, был готов порвать своё

глупое подлое письмо, но фронтовая почта уже сработала... И всю свою последующую подаренную Всевышним жизнь Фёдор проклинал себя за ту секундную слабость и стыдился своего поступка. И благодарил судьбу, что не убили его, дав возможность вернуться к Евдокии, покаяться перед ней и попросить у неё прощения...

Обидно было Евдокии. За себя, за всех жён, которые любили, верили и ждали. Обидно и больно за такую жестокую и злую проверку. И ещё много лет эта обида грузной слезой и комом в горле тайно от Фёдора возвращалась к ней. Но осознание, что всё позади, что «непутёвый» муж живой, целёхонек и вновь рядом с ней, брало верх над горечью обиды.

А потом была жизнь. Длинная, дружная, счастливая. У Евдокии и Фёдора родилась ещё одна дочь — Аллочка. О злосчастном письме вслух более никто из них не вспоминал...

И только через много лет, лёжа на смертном одре, измученный тяжёлой болезнью (эхо далёкой войны), всматриваясь в родные глаза жены, Фёдор из последних сил прошептал ей:

— Прости меня, дурака, за то...

Вот такая история произошла в конце мая победного 1945 года. В далёком от фронта уральском Нижнем Тагиле — моём родном городе. История, о которой я, уже почти шестидесятилетний человек, узнал от своих родственников. Евдокия и Фёдор — мои бабушка и дед. Ленста — моя дорогая мама...

Задумав этот рассказ, я задался вопросом: «Имею ли право писать об этом? Я, не знающий перипетий военного лихолетья?..» Решил: да, имею! Но не для осуждения тех, кто поддался смуте и, на долгие годы оторванный войной от семьи, усомнился в любимом человеке. А ради благословенной веры в любовь и преданность. Во имя тех, кто дал святой обет верности и не изменил ему, кто считает за честь познать верность и преклонить колени перед её хранящими...

## Лёшкина завалинка

Ножичек у Лёшки был знатный: карманный, с витиеватой эмблемой на красной рукоятке. И чего в нём только не было: несколько разных по величине лезвий, отвёртка, шило, пила и даже маленькие плоскогубцы. Сельские мальчишки за него любой обмен предлагали. Соседский Васёк — удочку, Андрюшка с лесопилки — фонарик, Костик с Проезжей улицы — щенка. Но не менялся Алёшка, нельзя было меняться. Ножик тот был подарен ему в день рождения — на восьмилетие — его старшим братом Павлом. Да и вещь ценная, нужная в хозяйстве. Но если кому из друзей нужно было в велосипеде цепь подтянуть или из дощечки что выстрогать — то это мигом к Алёшке. А он и не отказывал — сам сколько им всего наработал.

Бабушке черенки для лопаты и граблей обстрогал. Себе лук со стрелами и сабельку слядил.

Вот и сейчас сидел он на завалинке дома и строгал ивовый прутик. Работа не ладилась. Лезвие ножика затупилось и скользило по коре. Лёшка сердито сопел. Непослушный вихор выгоревших за лето волос стоял торчком.

— Ба! А ба! Где у нас точильный камешек?

Бабушка Аня хозяйничала в огороде и не сразу услышала внука. Дел в конце августа полно, а огород — он кормилец. Так во все времена на селе было. Что-то себе про запас, что-то на продажу. Вдовствовала она давно, так что привыкла управляться сама. Лёшка, конечно, помогал, как мог, несмотря на своё малолетство и врождённую хромоту.

— В сенцах лежит! Ты у нас хозяйня или я? Сиди, сейчас принесу. Как раз в дом собиралась — пить хочу.

Плотная, широкой кости, в ярком спортивном костюме (тоже подарок Павла) и бейсболке козырьком на затылок, она больше походила на туристку из города или тренера. Если бы не перетянутая шалью поясница — радикулит! — и галоши на толстые вязаные носки.

— Сабельку мастерить? Уже, наверное, всех друзей одарил? — бабушка передала внуку обломок от точильного камня, не преминув поцеловать его в темечко и пригладив непослушный вихор. — А что злой такой?

— Опять Пират напал! Вот слажу прутик — пусть только ещё попробует!

Пират, белый, нагулянный за лето гусак, щипал траву у забора. Услышав неладное для себя, насто-рожился, хитро скосил на мальчика голубой глаз. — Да что же вас мир не берёт? Подружиться никак не можете! Ах ты агрессор! Вот уж точно пират! — баба Аня окрикнула гуся и притопнула на него ногой.

Гусь-хулиган ответил своей хозяйке надменным взглядом, развернулся к ней хвостом и продолжил своё пропитание.

— Видишь, наглый какой! Так он и на тебя скоро кидаться начнёт!

— Не начнёт. А начнёт или ещё раз на тебя напа-дёт, так я быстро его в печь да с яблоками! — не то всерьёз, не то в шутку определила бабушка.

Она ещё раз безуспешно пригладила вихор внука:

— Недавно тебя подстригала, а он опять у тебя вон как вырос! Поливаешь его, что ли?

Подстригала баба Аня внука сама. По холоду — в доме, по теплу — на той же завалинке. И всегда, когда дело доходило до его упрямо торчащего вихра, приговаривала, смеясь: «Вот помру или женишься когда, кто тебя стричь-то будет?» Жениться Лёшка не собирался вовсе. Бабушку любил больше всех на свете и по своей детской наивности полагал, что так и будет жить с ней: долго-предолго, всю жизнь.

«А я на тебе женюсь!» — ворчал он, укутанный простыней, как во взаправдашной парикмахерской.

Однажды ночью Лёшка не спалось. Лежал, ворочался с бока на бок. Думал о своём житье-бытье. Как школу закончит. В институт поступит. На кого будет учиться, не решил ещё, но когда окончит его, обязательно останется здесь, в родном селе, чтобы жить с бабушкой и помогать ей. И вдруг представил, что бабушка когда-нибудь умрёт. И её не станет совсем. . . Лёшка заплакал. Сначала тихо. Затем зарыдал. Громко, во весь голос, не таясь.

Баба Аня подбежала к нему, обняла, прижала к себе. Лёшка не рассказал ей ничего, и всё сошло за приснившийся страшный сон. Бабушка ещё долго сидела рядом, успокаивая и целуя внука, а он скулил, как щенок, уткнувшись ей в грудь, пока не уснул. . .

— Пойду в дом. Притомилась. Со двора не уходи — скоро обедать позову.

Внук остался один на один с хлопотавшим о своём гусем, не подозревавшим о подготовленной ему горькой участи. Как бы то ни было, но Лёшка никак не хотел причинить вред своему обидчику, пусть даже такому зловредному:

— Смотри, Пират, последний раз прощаю! — для пущей солидности строго предупредил он гусака и сломал вичку.

Лёшка любил эту завалинку. Когда погóдило и выдавалось время, они с бабушкой подолгу сидели здесь. Говорили о разном, а то и просто молчали, думая каждый о своём, любовались закатом. Было хорошо вдвоём в эти минуты: спокойно и радостно.

Их старенький дом замыкал улицу и своей тыльной стеной выходил к косогору. Ниже косо-гора, как на ладошке, расстилось дикое поле: широкое, дремлющее. Но стоило завернуть сюда шальному ветру, поле пробуждалось, дышало полной грудью.

Ближе к дальнему краю поля обжились две берёзовые рощи. Будто девушки-невесты в белых сарафанах вышли из леса, встали в круг и водят хороводы: кто веселей да звонче? За полем мелким подлеском начинались владения тайги, раскину-шейся до самого горизонта.

— Мы, Лёша, с тобой как в кино, в первом ря-ду, — шутила баба Аня, сидя рядом с внуком и обнимая его.

Село оставалось где-то за их спинами. И было ли оно вообще? Правление, опустевшая на лето школа, давно требующий ремонта клуб, мага-зин, где односельчане заодно обсуждали местные, но больше государственные проблемы. Всё это каким-то волшебным образом уступало место другому миру. Миру, который открывался с его, Лёшкиной, завалинки. Светлый. Зовущий. Понят-ный детской чистой душе. Лёшка дорожил этим

миром. Поэтому делился им только с самыми близкими ему людьми—бабушкой и братом. Здесь, на его завалинке, нашлось бы место и маме. И ещё одной девочке из его класса...

Даже зимой, когда снега наметало по окнам, Лёшка расчищал проход к любимой завалинке. Проведывал. Посидит, покуда мороз терпит, тёплые времена вспомнит. От дома и до самой тайги простиралась снежная гладь. С мудрёным узором, нанесённым позёмкой. «Словно бабушкин оренбургский платок»,— любовался зимней картиной Лёшка. В солнечную погоду снег блистал серебром, искрился—не наглядись. Смотришь до боли в глазах, до слепоты. Другое—в непогоду, метель. Когда даже рядом с домом, ощущая спиной его бревенчатую стену, было жутко представить себя там, в поле, где полная вольница для бьющего наповал ветра, забивающего глаза и рот сухим жёстким снегом. Утомившись, вьюга затихала на секунду-другую, чтобы с новой силой продолжить свой разгул, и тогда, мельком, открывалась тёмная полоска тайги—нахмуренной, чужой. Но более всего Лёшке было по душе нарядное полотно поздней золотой осени с её буйным, торжественным разноцветьем. Тайгу будто укрывали огромным одеялом, сшитым из множества пёстрых ярких лоскутков. Похожее одеяло баба Аня шила специально для внука, и оно грело и радовало Лёшку с осени до весны.

Отца Лёшка не помнил. Говорили, утонул на рыбалке. Весна в тот год задалась ранней, дружной, лёд на реке подтаял. Был бы трезвый—выбрался, а по пьяному делу запаниковал. В тот же год старший брат Павел перебрался в город—поступил в институт учиться на тренера. А как вдвоём с матерью остались, зашла она. Хозяйство забросила, с работы выгнали. Потом сошлась с таким же пропойцей, и пили они вместе. Скандалили. Дрались. И всё на глазах Алексея. Вот баба Аня и забрала внука к себе. Мать в воспитании сына не участвовала, не помогала совсем. Заходить, конечно, заходила. Пьяная. Некрасивая. Бывало, с бутылкой. Придёт, расплатится. Деньги взаимно клянчила. А то и уснёт—за столом, тут же. Лёшка поначалу жалел её. Просил, чтобы не пила. А потом стал закрываться в другой комнате или вообще убегал на улицу. Давно не была у них, не заходила: баба Аня запретила приходить пьяной, а трезвой та, видимо, уже и не бывала.

Отсюда у Лёшки и ненависть к спиртному. Покаялся он как-то бабушке после очередного визита матери: вырастет—хмельного в рот не возьмёт! А ещё соберёт всю водку да вино, сядет на трактор—а лучше на танк!—и раздавит всю эту гадость. Чтобы другие матери не пили и со своими детьми были.

Вот и стала баба Аня для Лёшки и за отца, и за мать. И за хорошего друга. Одеть-обуть, накормить.

А то ещё, Бог даст, в люди вывести, женить. Учила, чему могла. Сама в огород—и внука за собой, объясняла, что к чему. Пошла в лес—и он потихоньку за ней, внимательно слушает рассказы о тайге, её обитателях. Тоже баню истопить, блины испечь. Даже носки вязать научила. Правда, пока, пяточка Лёшке никак не давалась. Баба Аня успокаивала внука: трудись—и всё тогда одолеешь. «Усердная мышь и стену прогрызёт!» По хозяйству тот помогал с охотой. Доска у забора отошла—приколотит. Промажет, мимо гвоздя по пальцу молотком ударит, но терпит, вида не покажет, что больно. Двор от снега расчистить, картошку окучить, капусту полить—всегда поможет без просьбы. Хвалит его бабушка: «Помощник ты мой дорогой! Мужичок-боровичок!» А малой доволен, ещё какую работу глазами ищет.

Хромота Лёшку не смущала—просто другого он и не знал. Мешала, конечно, но приноровился. От уроков физкультуры мог получить освобождение, однако решили с бабушкой посещать, выполнял что мог. И с ребятами деревенскими водился: те на рыбалку—и он с ними; играть в футбол—и он тут же, судьёй, а то и вратарём. Выделяли его пацаны за эрудицию, с Лёшкой было интересно. Книжки интересные им пересказывал, с желанием делился всем, что знал сам.

Читать и писать обучала Лёшку бабушка. К школе готовила. Баба Аня—Анна Ивановна—до выхода на пенсию («пензию», как говорили многие в их деревне) учителем начальных классов работала. Так что это дело было ей привычное. Читала ему, когда сам не умел. Стихотворения наизусть учили, задачи решали. Что-то из книг своё было, какие-то в школьной библиотеке брала. Павла просила покупать в городе. Особо детские энциклопедии: про страны и города, географию, животных, космос. «Хорошему—я научу. Плохому—улица»,—приговаривала Анна Ивановна.

Читать Лёшке нравилось. Опять же, при возможности, на своей любимой завалинке. Дома стены, а здесь—простор, глаз до горизонта всё видит. Можно представить себя капитаном белоснежного океанского лайнера, идущего к неведомым землям, а то и мчащегося космического корабля! А под ним, на их зеленеющем поле, пирамида Хеопса, афинский Парфенон, римский Колизей. И бабушка. Маленькая-маленькая. С ноготок. Нет, бабушку он возьмёт с собой. Ведь не может же он оставить на Земле своего лучшего друга!

И брата не оставит. Правда, у него уже своя семья. Павел говорил, что скоро у них будет ребёнок, первенец, и он, Лёшка, станет дядей.

И ещё—одноклассницу Иринку...

Вот управится баба Аня со своими делами, подсядет к Лёшке на завалинку, приобнимет его, и начнутся новые рассказы, увлекательные истории.

Слушал её Лёшка, затаив дыхание, прижавшись к её тёплой боку. Любил рассказы о родном северном крае. Засыпал вопросы. Почему здешнее лето короче, чем на юге? Почему рыба заходит в верховье их реки на нерест — специально, издалека, а потом погибает? Отчего ближе болото зовётся Никиткиным, а родник — Татьяниным? Откуда прилетают к ним на гнездовье журавли?

К журавлям у Лёшки было отношение особенное. Ждал их прилёта, часто и подолгу всматриваясь в посветлевшее весеннее небо. А завидев, радостно кричал:

— Ура-а! Журы летят! Журы вернулись!

— Посланники Божьи летят. Весну на крыльях несут. Слава Богу, перезимовали, до весны дожили! — крестилась на птиц баба Аня. — Вновь оживёт страна Курляндия!

Так она называла поселения журавлей на моховых болотах, коих в здешних краях было в изобилии. «Курляндия» — так оно и пошло по деревне с её лёгкой руки.

Птицы отвечали громким курлыканием, пролетали кругом над селом и опускались в лес — на с незапамятных лет облюбованные ими болота. Радостно становилось на сердце у Лёшки. Слово кто-то очень родной и близкий возвратился домой после долгой разлуки. Обустроив гнёзда, журавли вылетали из тайги, и Лёшка становился нечаянным свидетелем их житейских хлопот. Рассыпавшись по брошенному совхозному полю, что на отшибе у самого леса, искали палые зёрна, грелись на солнце, исполняли брачные танцы. Через месяц журавлиные пары обзаводились птенцами. Стая становилась подвижней, шумней, птиц в ней теперь было заметно больше. Затем начиналось самое интересное — птенцов учили летать. Поначалу они суетливо били неокрепшими крыльями, запинались при разбеге, падали, волновались. Вместе с ними волновался и Лёшка. Более сильные, оторвавшись от земли, тут же пугливо спускались под неодобрительные окрики родителей.

Окрепнув, молодые журавли уверенно взмывали в небо, наслаждались полётом, свободой парения. «Мне бы к ним! — думал Лёшка, с завистью глядя на счастливых птиц. — Может быть, и меня бы научили летать? Почему я не птица?..»

Когда Лёшке было ближе к семи годам, случилось следующее. Озадачился он вопросом: почему люди не летают? Упрямо озадачился, серьёзно. Уж очень ему хотелось с журавлями полетать. И ну выспрашивать у всех: в детском саду, у бабушки, знакомых. Вот кто-то из соседей и сболтнул со смешком, не подумав: мол, грехи у людей тяжёлые, не дают птицей летать. Запал мальчишке в голову ответ этот, и ну давай бабушку выспрашивать: что такое «грехи» и как от них избавиться? Прояснила она, как могла, этот вопрос, а он её в церковь тащит — от грехов освободиться. Шутки

в сторону — настойчив был внук, — привела его в храм. Исповедовал батюшка Лёшку, причастил Святых Господних Тайн. Доволен малый, аж светится! А потом... Спрыгнул с крыльца дома — не взлетел. «Видимо, высоты маловато — грехов-то больше нет!» — заключил маленький мечтатель и спрыгнул с крыши бани. Перелом ноги. Распекание от бабушки. Месяц гипса. Полный крах мечты...

Была у Лёшки ещё одна мечта. Сокровенная. Даже с бабушкой ею не делился. Училась в его классе девочка — Иринка Крючкова. Девочка как девочка. Только было в ней что-то особенное, единственное. И ресницы у неё были самые длинные и пушистые. И удивительные ямочки на щеках, которые озорно появлялись, когда она улыбалась. Задорный, чуть вздёрнутый носик. А ещё её бант — как большая белая бабочка, которая выбрала Иринку, потому что она была самая красивая девочка в мире.

Ирина сидела впереди Лёшки, и бант постоянно отвлекал, беспокоил его. Какой же он был назойливый, этот бант! Не один раз Алексей приказывал себе не смотреть на него, но никак не мог справиться с собой.

Очень хотелось Лёшке подружиться с Иринкой. Но она не обращала на него никакого внимания, впрочем, так же как и на остальных мальчиков. При встрече с ней Лёшка смущался, опускал глаза. Наверное, даже краснел.

— А Лексей в Ирку втюрился! Жених хромой, подавился колбасой! — дразнился на Алексея одноклассник Кирилл Блохин, двоечник и хулиганистый мальчишка с веснушчатым невыразительным лицом, оттопыренными ушами и бегающими глазками. Блоха, как прозвали его деревенские пацаны.

Родители Кирилла были признанными алкоголиками, и жил он сам по себе. Одинокий и колючий, как репей. Наша будущая головная боль, как в шутку (а может, всерьёз?) говорили о нём учителя. Не было перемены, чтобы он не подставил кому-нибудь подножку, не дёрнул за косу, не развязал бант или не исполнил какую другую гадость.

Лёшка старался не замечать выходки Блохина. Знал его пакостливый характер и грубостью на грубость не отвечал. Даже жалел Кирилла, что у него нет такой бабушки, как у него.

Как-то на перемене, выбрав момент, чтобы Иринка была в классе, Кирилл вновь прокричал свою дразнилку и попытался толкнуть Алексея. Но тут же оказался на полу с завёрнутой за спину рукой. Ошарашенный. Жалкий. Только и успел что ойкнуть. Пригодился Лёшке один из приёмов японского айкидо, показанных братом. Класс замер в ожидании развязки. А она оказалась неожиданной. Лёшка помог Кириллу встать, отряхнул его. Тот же, бледный, с дрожащими



губами, попытался сказать что-то, но не смог. Так, заикаясь, и выбежал в коридор. Лёша молча сел на своё место, мельком заметив удивительные ямочки, вдруг появившиеся на Иринкиных щеках...

Однажды Иринка даже приснилась ему. Они шли по бескрайнему ромашковому полю. Цветы расступались перед ними, приветствуя поклоном. Шли молча. Лишь иногда смотрели друг на друга и улыбались. Лёшка сорвал для Ирины цветок, который тут же превратился в бабочку. Бабочка села на голову девочки, и уже не бабочка она вовсе, а шёлковый белоснежный бант. Ветер поднял ребят над полем, понёс выше и выше, к самому солнцу. Иринка испугалась, закрыла глаза. Лёшка взял её руку в свою—ведь мальчику не к лицу трусить! Солнце ослепило, обдало жаром. И не солнце оно уже, а огромная ромашка. Вот и грациозные журавли, дружелюбно принявшие детей в свою стаю. Их крепкие крылья резко опускались вниз и плавно поднимались вверх. Лёшка и Иринка, счастливые, парили как птицы—они и были птицами...

А внизу словно плыли разноцветные квадраты крыш, утопающие в зелени цветущих садов. Так это же их село! Какое оно стало красивое! На улицах празднично одетые люди. Все радостно смотрят в небо, на Лёшку и Иринку, на журавлей. Машут им и что-то кричат, что—не слышно из-за спящего медью школьного духового оркестра, но что-то непременно хорошее и доброе. А вон и Лёшкина мама. Трезвая. Красивая. Одной рукой машет им, второй приобнимает стоящего впереди неё какого-то мальчика. Так это же Блоха! Кирилл Блохин! Он тоже машет им, и Лёшка машет ему в ответ...

На лето Иринку отправляли на юг, в Крым, к родственникам. Лёшка скучал по ней. Вспоминал её лицо, голос, смех. Ещё теплоту её ладони, мягкой и немного влажной, когда она подошла к нему и поздравила с успешным окончанием учебного года: в классе было два отличника—Ирина и Лёша. А как-то, замечтавшись, вырезал на завалинке своим знаменитым ножиком её имя. Но спохватившись, что *это* увидит бабушка, затёр его...

— Бабушка! Бабушка! Журы полетели!

Лёшка вскочил на ноги, вытянулся струной, всматриваясь в сторону леса. Там, на окраине поля, сбивались в стаю журавли. С разбега легко отрывались от земли. Серым живым облаком кружились над полем, выстраивались клином—каждая птица заведомо знала своё место и без суеты занимала его. А высоко в небе уже летели другие стаи, зазывая сородичей в дальний путь. — Сейчас и наши поднимутся!—бабушка выскочила из дома, на бегу надевая куртку.

Сколько за свою жизнь проводила таких караванов, а всё как в первый раз, как в далёком детстве. Только вот на душе стало тревожней, и сердце щемит...

«Ку-у-ур... Ку-у-ур...»—протяжно и печально прощались птицы с родными насиженными местами, с оставшимися внизу провожавшими их людьми.

— С утра полетели, на день. А ну, Лёшик, посчитай, сколько наших жуток в клине? У тебя-то глаза поострей моих будут,—попросила бабушка внука.

Лёшка озадачился серьёзностью задания. Для верности счёта прищурился и даже залез на зава-linkу:

— Один, два, три...—старательно считал он птиц, направив в сторону стаи указательный палец, боясь сбиться со счёта,—...шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три. Шестьдесят три журавля!—громко отрапортовал Алексей.

Баба Аня вопрошительно посмотрела на внука, словно сомневаясь в его подсчёте:

— Надо же... Сколько и мне...

Женщина прижала мальчика к себе, поцеловала в макушку всклоченной головы:

— Выходит, не журавли это летят, а годочки мои. Один к одному... Так и пусть летят. Значит, движемся, живём, значит. Колесом дорога! Возвращайтесь!

— Колесом дорога! Возвращайтесь!—вторил ей Лёшка и махал вслед птицам.

Так и стояли они долго, обнявшись,—два самых близких человека на планете Земля, пока звонкий клин не растаял в чистой утренней синеве...